

Иконизм

как феноменологическое свойство языка А. Платонова

В исследовании языка А. Платонова просматривается устойчивая закономерность. В каком бы интерпретационном модусе ни предстал языковой материал, он последовательно соотносится либо с языковой нормой, либо с системными отношениями в языке. Для этого есть все основания, поскольку А. Платонов постоянно нарушает логические связи. Характер таких нарушений квалифицируется исследователями в терминах «языковых аномалий» [2]. Сами же «аномалии» предстают в типологии семантических преобразований, которые автор совершает со словом (подробный обзор работ, выявляющих такие преобразования, см. в [7]). Такая, по сути, инвентаризирующая установка не позволяет осознать художественную природу того способа, которым писатель оперирует языком. Она же приводит некоторых исследователей к весьма пессимистическим выводам: «всякая попытка научно-систематического, объектив-

но-философского суждения о языке Платонова абсолютно бессмысленна» [5:21].

Сложившаяся эпистемическая ситуация сродни той, о которой пишет М. Мамардашвили в отношении мифопоэтики: «литературоведы берут сам миф как конечную точку объяснения и, сравнивая его с каким-нибудь романом, заявляют, что это образ мифологического романа. Тем самым предполагается, что роман объяснен, хотя на самом деле никакого объяснения нет, если не раскрыт механизм, рождающий мифологические представления, когда душа проходит мимо своего опыта, не способная его переварить» [3:48]. В контексте рассуждений философа актуализируется задача исследователя – раскрыть механизмы, рождающие представление об «опыте души», что выводит само исследование из области лингвистической в антропологическую и лингвофилософскую.

В осмыслении художественной природы языка А. Платонова значима программная установка художника писать «сухой струей сущности», которая, как представляется, предопределяет риторическую напряженность формы выражения, определяемой в качестве «языковых аномалий». Известно, что аномалии как таковые обусловлены нарушением системных связей, но в художественном тексте они утрачивают аномальный статус, формируя основания для риторических фигур. Семиотическая природа риторических выражений соотносит их с иконическими знаками, связанными с «изображаемым объектом» отношением естественного сходства. Обусловленность языка А. Платонова иконичностью выражения может быть осмыслена в пространстве «единого текста», в отношении которого значима презумпция его процессуальности. Как органическое свойство единого текста А. Платонова процессуальность образования смысла сопряжена с языковой аттракцией, которая, в свою очередь, является экзистенциальной основой языковой памяти [1].

В такой установке особый интерес представляют платоновские контексты, актуализирующие роль памяти как смысло- и текстообразующего феномена. Учет феноменологических свойств памяти позволяет во многих случаях уяснить природу наиболее характерных для А. Платонова риторических выражений. Для демонстрации того, как память организует сложное соотношение модальных планов платоновских контекстов, а также в установке на дополнительную в анализе языкового материала представляем фрагменты дискурсивной интерпретации отдельных текстовых фрагментов, включающей элементы семантического анализа.

В лингвистической теории и практике анализа семантической структуры высказывания принято различать план пресуппозиции (имплицитных смыслов, полагаемых как условие осмысленности высказывания) и план ассерции (утверждаемого). В отличие от ассерции пресуппозиция не принимает отрицания. Это свойство семантической пресуппозиции нейтрализуется в таком платоновском контексте: «*На улице не греблись куры, потому что их съели*» (Чевенгур.). Первая часть этого высказывания имплицитно экзистенциальную пресуппозицию: «*существуют куры, которые в определенное время гребутся на улице*», именно с ней согласован ассертивный план: «*на улице не греблись куры*». Эта же пресуппозиция входит в противоречие с причинной мотивацией в другой части

высказывания («*потому что их съели*»), а ее отсутствие лишает референта местоимение «*их*». Все это создает эффект семантического абсурда: «*существуют куры, которых съели*».

Семантический анализ, как видим, сам по себе не дает значительных результатов. Не исключено, что этот случай можно интерпретировать как не прямое сообщение о том, что кур в деревне нет вообще, а сам способ выражения бытийного значения определить, как это и делают исследователи, в качестве анаколапа. В такой квалификации риторического приема фиксируется, тем не менее, опять лишь момент нарушения системных языковых связей. Вместе с тем обращает на себя внимание то, что пресуппозитивный (бытийный) план высказывания в контексте повествования сопряжен с памятью персонажа, в которой жива «картинка» (мемориальный образ) улицы в прошлом. Эта «картинка» накладывается на актуальное восприятие непривычно пустой улицы, отражение именно этой особенности и лежит в основе платоновского приема. Тем самым семантическая структура высказывания, которая входит в противоречие с синтаксической структурой, на прагматическом уровне выявляет изоморфизм синтаксических смысловых отношений и ментальных состояний воспринимающего субъекта, что и позволяет говорить об иконичности языкового выражения.

Эта особенность проясняет характер повествовательной стратегии. В первой части контекста повествователь слит с персонажем, а способ его сообщения соотносен с ментальным состоянием персонажа. Во второй части высказывания модальный план меняется: причинная мотивация согласована со знаниями повествователя в пространстве «целого» текста. План воспоминания, таким образом, дискретен и интегрирован в прагматический фон повествования. Семантическое согласование осуществляется не в плоскости логико-дискурсивной структуры высказывания, а растягивается на границе разных планов сознания персонажа (воспоминание/видение) и повествователя (знание). Точкой временного отсчета оказывается план памяти, в которой все актуально. То, что сообщение о хранящемся в памяти и не обозначенном специально событии попадает в сферу действия отрицания², выявляет значимость позиции повествователя: он не только слит в один из

² Как известно, подсознание не принимает отрицания. Память хранит информацию в образной форме и в чистом виде не может содержать отрицания, которое является логическим оператором.

моментов с персонажем, но и находится на границе между актуально-прошлым и актуально-настоящим / памятью и видением. Именно такую локализацию можно связать с представлением о «горизонте сознания». В этом контексте на уровне синтаксической организации высказывания практически реализуется замысел, который Платонов вкладывает в уста другого персонажа – анархиста Мрачинского, автора романа «Похождение Агасфера». Ср.: *«А сами то вы сочувствуете идее книги? Вы помните ее?– допытывался вождь? Там есть человек, живущий один на самой черте горизонта»* («Чевенгур»). Позиция человека, живущего на краю горизонта, чрезвычайно важна для понимания природы дискурса А. Платонова. Это не позиция наблюдателя, для которого горизонт дан как пространственная граница его окружения, а внутренняя позиция, предоставляющая возможность интегрировать видимое и невидимое, внешнее и внутреннее, жизненное и бытийное.

Так, пресуппозиция существования, не отменяемая причинной мотивацией, позволяет Платонову актуализировать значимые бытийные смыслы. В едином платоновском тексте существование тесно связано с памятью, которая, собственно, и наделяет его смыслом. Не случайно Вошев, один из персонажей повести «Котлован», собирает «всякие предметы несчастья и безвестности», чтобы «хранить и помнить». Этот «пристальный и скаредный подбор ненужных вещей», по мнению В.Н. Топорова, глубоко сопереживается писателем «как сбережение самого вещества существования» [9:90]. В контексте этой интерпретации значима и такая мысль: «Мир тогда лишь по совести оправдан для человека, если все, что в нем есть, не случайно и не напрасно» [10].

Связь категорий памяти и существования закономерна, она фиксируется не только в художественном и философском дискурсе, но и в языковых выражениях. И.Б. Шатуновский, исследующий языковую семантику бытийных предложений, отмечает в русском языке наличие малоупотребительных предложений, в которых «существование представлено как локализованное во времени», в то время как в большинстве случаев «бытийные предложения выражают существование как постоянное, узуальное, охватывающее более или менее длительный период времени соединение фрагментов» [9:147–148]. Локализованность бытийного компонента во времени, как правило, выражается в эксплицитном сообщении о том, что по-

мнит говорящий / пишущий (ср.: Я помню, здесь стоял дом). Принципиально важно, что Платонов, в целом не выходя за пределы логики языкового представления, отказывается от линейного способа выражения бытийных смыслов. Перенос сложного соотношения модальных планов вглубь высказывания позволяет иконически фиксировать континуальность мысли, возникающей («растягивающейся») на горизонте видимого и вспоминаемого. Глубинное и неоднородное представление содержания памяти позволяет Платонову изобразить невообразимое: в топологическом пространстве сознания преодолевается линейность времени.

Приведенный пример задает направление для интерпретации эмблематического образа, синтезирующего такие метафоры, как «евнух души» и «мертвый брат человека». В платоноведении в отношении к этим образным смыслам поддержана философская интерпретация В. Подороги. По мнению философа, установка «евнуха души» дает такой эффект: «Изображаемое деперсонализуется, депсихологизируется и не определяется никакой внутренней телеологией. Подобному описанию доступно только внешнее, а точнее, только положения, изменения и действия тел, физические события. Платоновский взгляд остраивает, о-внешняет любое из событий, претендующих на то, чтобы являть собой внутреннее переживание состояний мира и человеческих существ» [6:23–24]. Действие этого принципа ограничивает М. Михеев, полагающий, что такой способ выражения выявляет «голос субстанции, лишенной всего человеческого», отстраненной от какой-либо оценки происходящего, а лишь только хладнокровно фиксирующей все происходящие события, не умеющей ничего переживать и не участвующей ни в чем, а только анализирующей, лишенной души и воли, но при этом – постоянно мыслящей. «Некий голый интеллект» [4:50].

Соотнесение этих позиций демонстрирует логическое развитие представления, в рамках которого оценка наделяется свойством «быть пределом в отношении к чему-либо»: если X не оценивает, значит – равнодушен; если равнодушен, значит – не способен к переживанию; если не способен к переживанию, значит – ущербен («голый интеллект»). В отношении к логике таких представлений значима мысль другого философа: «Мышление подлинно творческое, восходящее от абстрактного к конкретному, заинтересованное в обогащении реальности, движется в логическом пространстве между тождест-

вами и противоположностями, никогда не приставая ни к одному из этих пределов, но постигая и умножая различия. Здесь действует правило: «ничему не противостоять, ни с чем не отождествляться» [11]. Способность Платонова «к необычайно яркой изобразительности, которая пожирает логические силы» (В. Мильдон), во многом связана с совмещением разных модусов сознания в единой и универсальной установке отношения к миру.

Несомненно, тексты Платонова в ретроспективе литературной и мыслительной традиции дают основания для разных, в том числе и взаимоисключающих, интерпретаций. Но в отношении к ним можно занять перспективную позицию, связанную с активно разрабатываемой в современной философии идеей «единичного» и «универсального». В контексте этой установки «универсальное нельзя только мыслить, ибо истинно универсальное мышление, соответствующее универсальности своего предмета, не может быть только мышлением, оно включает разные способы познания, в том числе интуитивные, сенсорные, эмоциональные» [11]. Принципиально важно, что универсальное мыслится здесь как единично-уникальное.

Как представляется, приемы, определяемые в платоноведении как «деперсонализация» и «депсихологизация», не столь однозначны и всегда содержательно обоснованны. Ср.: с одной стороны: *«Захар Петрович стоял на пороге с железным недоделанным чемоданчиком и не моргал, чтобы не накапливать слез»,* а с другой: *«Захар Петрович думал без ясной мысли, без сложности слов, – одним нагревом своих впечатлительных чувств, и этого было достаточно для мучений. Он видел жалобность Прошки, который сам не знал, что ему худо, видел железную дорожку, работающую отдельно от Прошки и от его хитрой жизни, и никак не мог понять – что здесь отчего, только скорбел без имени своему горю».* Или о Сербинове: *«Сербинов начал понемногу есть все эти яства женского стола, касаясь ртом тех мест, где руки женщины держали пищу. Постепенно Сербинов поел все – и удовлетворился, а знакомая женщина говорила и смеялась, словно принесла пищу в жертву вместо себя. Она ошиблась – Сербинов лишь любовался ею и чувствовал свою грусть скучного человека на свете; он уже не мог бы теперь спокойно жить, оставаясь одиноким и самостоятельно довольствоваться жизнью. Эта женщина вызывала в нем тоску и стыд <...> В первый раз в жизни Сербинов не имел собственной*

оценки противоположного человека, и он не мог улыбнуться над ним, чтобы стать свободным и выйти прежним одиноким человеком» («Чевенгур»).

В приведенных контекстах «депсихологизацию» (в логике рассуждений цитированных выше авторов) можно усмотреть в описании внутреннего состояния Захара Петровича, сдерживающего свои чувства, и – процесса поедания «яств» Сербиновым, который изгоняет чувства из своей души. Эти же контексты могут получить иное осмысление, для которого значимой оказывается иконичность повествования: в первом случае «чувства» сознательно не демонстрируются персонажем, а во втором – сознательно отвергаются им. Если исходить из того, что за поведением Захара Петровича может стоять стереотип культуры (представление о мужском поведении, в котором нормой является эмоциональная сдержанность), а за способом приема пищи – бессознательное влечение Сербинова к женщине, то установка на иконичность выражения оказывается мотивированной психологически.

Отмена языковой конвенции, проявляющаяся в замене контекстуально-возможного «сдерживать слезы» на *«не моргал, чтобы не накапливать слез»*, феноменологически связана с интенцией персонажа, исключающей саму возможность проявления внутреннего состояния. Во втором случае, казалось бы, излишняя детализация – *«касаясь ртом тех мест, где руки женщины держали пищу»* – является иконической фиксацией сублимированного желания и явного эротизма приема пищи. Следствием этого является «остранение» видимого, наблюдаемого от привычных повествовательных форм выражения как знаков культурного дискурса. Важно и то, что поведенческий стереотип блокирует выражение переживания любви – того состояния, которое является самым ценным в человеке. Захар Петрович Сашу любит, а плачет он по ночам, «уткнувшись лицом в печурку», где греются чулки больного. Отчаявшись в его выздоровлении, он делает приемному сыну гроб, надеясь, что сможет потом время от времени доставать его оттуда, *«чтобы помнить»*. На фоне таких проявлений любви выражение *«старался не накапливать слез»*, прощаясь с Сашей, оказывается риторически оправданным и феноменологически точным.

Точность обеспечивается заменой ожидаемого в этом контексте глагола плакать на *«накапливать»* (слезы). Употребленный Платоновым глагол амбивалентен и обнаружива-

ет контекстную омонимию. Такой эффект обусловлен узуальным значением слов накопить/накапливать («копить, собрать в каком-либо количестве»), которое задает такой контекстно-обусловленный смысл: хотел (за) плакать, но не (с) мог, т.е. не плакал. Вместе с тем глагол *старался* изменяет смысл фиксируемого состояния и актуализирует омонимичную внутреннюю форму слова *накапливать*, связанную со словами капля/капать. В этом случае *не накапливать* также получает смысл *не плакать*, хотя не исключает противоположного: глаза полны слез. В этой неоднородности внутреннего состояния («хотел плакать, но не мог / старался не плакать, но плакал») важной оказывается не столько его номинация, сколько сложная и амбивалентная модальность, к тому же предельно выразительная. Напряженность внутреннего состояния подтверждается и такой деталью – Захар Петрович, стоя на пороге, держит в руках железный недоделанный чемоданчик. Налицо бессмысленность самого действия, ведь в таком виде он не может пригодиться Саше. Парадоксальным образом этот, наверняка, оставленный дома чемоданчик в Сашинем беспамятстве по законам аттракции обретает реальность вещи, взятой в дорогу, – очнувшись, Саша ищет несуществующий сундук с булками.³

Аналогично организован внутренний план другого выражения – *«насильно держал открытыми свои глаза, чтобы из них не капали во всеуслышание слезы»*, хотя все равно *«из вытаращенных глаз шла по щекам грязная невольная влага»* – в описании состояния Захара Петровича, стоящего над умирающим «наставником». И на этот раз в повествовании иконически точно представлен лишь след экзистенциального состояния персонажа, переживающего событие смерти, невыразимое в своей полноте. Немигающие (*«вытаращенные»*) глаза живого Захара Петровича становятся символом «мертвого» и «вечного» (в платоновском тексте эта особенность фиксируется постоянно), а капающие во «всеуслышание» слезы задают модус абсолютно молчания. Ср.: «Любимое остается в молчании, в той ночи, которую нельзя называть» [14]. Сдерживаемые слезы становятся знаками невыраженной любви, за вычетом которой остается лишь *«грязная влага»*.

³ Прорастание детали в сюжетную ситуацию, характерное для платоновского текста, связано с риторической процедурой соотношения фигуры и фона. Нарративное своеобразие текстов А. Платонова нередко предопределено вариациями этих планов.

В таком символическом ряду конвенциональные знаки становятся иконическими, изображая слиянность в любви и сочувствии, амбивалентными знаками внутреннего состояния и абсолютной границы между жизнью и смертью. *«Вытаращенные»* глаза Захара Петровича напоминают о словах его отца: *«Гляди – премудрость! Рыба между жизнью и смертью стоит, оттого она и немая и глядит без выражения; телок ведь и тот думает, а рыба нет – она все уже знает»* («Чевенгур»). Сфера абсолютного знания тем самым не предполагает «выражения», связанного с полнокровностью жизни, в которой мысль и чувство слиты воедино. Перед нами парадокс: абсолютно «невыразимое» в иконической и символической форме языкового выражения становится «выразительностью невыраженного».

Эта особенность осмысливается в современном литературоведении как проявление апофатизма. По мнению М. Эпштейна, именно апофатизм является одной из отличительных особенностей русской культуры, представляя как «отрицательная теология и отрицательная эстетика, когда высший идеал может быть преподнесен только в отрицательной форме, как отступление от него или недостижение» [14]. Апофатичность выражения смысла, фиксирующего экзистенциальное прикосновение к смерти, предопределена инстанцией повествования, локализованной как «на границе» жизни и смерти, так и на «краю горизонта», объемлющего жизнь и «погребенную» (вечную) память. Сам горизонт «растягивается» между частями повествования, размеченными «вытаращенными» глазами живого и живущего Захара Петровича и закрывающимися глазами еще живого, но умирающего наставника. На этой границе жизни и смерти появляется исключительно значимый контекст пренатальной памяти умирающего. Память о рождении в «нежной тьме» закрытых глаз наставника предстает как ощущение «тихой горячей тьмы» и как воспоминание о «тесноте внутри его матери». В предельной ситуации исчезает время: в равном ряду – *«расставленные кости»* матери, *«большой старый рост»* умирающего, мешающий пролезть между ними, и сосание *«детскими опухшими губами»*. В таком «спрессованном» выражении, как *«большой старый рост»*, – вся жизнь человека (в прошлом маленького, сейчас большого, когда-то молодого, сейчас старого), представленная в ряду временных состояний, объединенных интегральным смыслом «роста». Описание

последних мгновений жизни-умирания, растягиваемых в пространстве повествования и «подвешенных» во времени жизни как целого, иконически точно выражает предельность и конечную невыразимость экзистенциальных смыслов.

Иконизм выражениям, тем не менее, позволяет Платонову фиксировать все психологические нюансы. Ср. фразу о том, что видит наставник, открывший перед смертью глаза: «Один стоял низко над ним, словно безногий, и закрывал свое обиженное лицо грязной, испорченной на работе рукой». В этой фразе каждое слово значимо – в преддверии смерти оно по частицам восстанавливает целостность «сокровенного» человека: «один» – пренебрежительное и характерное для наставника отношение ко всем, кто не любит машин так же, как он сам; «стоял низко, как безногий» – схваченный взглядом умирающего фрагмент ситуации, в которой кто-то стоит над ним на коленях, хотя такая поза, наверняка, исключается наставником по отношению к человеку, который в его сознании сам по себе ценности не имеет; «закрывал обиженное лицо» – восприятие взрослого человека: плачут только дети, да и то – от обиды, а наставник все время обижал своих подчиненных; машину же наставник «полагал более человека», что уж тут по нему плакать; «грязной, испорченной от работы рукой» – впервые человеческое тело осознается как ценная вещь, которую можно испортить, да еще и работой, которая сама по себе для наставника – непреходящая ценность; человек тем самым уравнивается с самым ценным, что можно испортить, – машиной. Экспликация таких смыслов – не произвол интерпретации, поскольку в последующем контексте появляется такая фраза: « – Плачет чего-то,

а Гараська опять, скотина, котел сжег... Ну чего плачете? Нового человека соберись и сделай...». Опять тот же эффект: в одной фразе – все модусы отношения умирающего к людям и миру, а главным, но не выраженным эксплицитно событием в момент смерти становится восстановление подлинной иерархии ценностей, неразрывно связанной с мечтой о новом человеке.

Способность передавать смысл целого в частном является, как известно, свойством иконических знаков. Приведенный контекст наделен этим свойством в полной мере. Если исходить из того, что иконические знаки смещают перспективу, выдвигая на первый план сущностно значимые смыслы, то приведенную фразу следует признать не только иконически выразительной, но и апофатически содержательной. Такой способ выражения вряд ли может быть признан средством «депсихологизации». Как имманентный способ выражения «сокровенных» смыслов, иконизм выражения «запускает» смысловую аттракцию, предопределяющую работу ассоциативных механизмов памяти, в том числе языковой и текстовой. Иконической формой сокрытого и сокровенного становится умолчание. Следствием этого в языке А. Платонова является прерывность, алогичность и «яркая изобразительность» словесного выражения. Эта особенность наполняет глубоким смыслом платоновский оксюморон «сухая струя сущности», образный смысл которого, как представляется, и выражает суть апофатизма.

Наряду с этой особенностью выявляется значимость выражения в языке А. Платонова бытийных модусов. Осмысление этого феномена будет представлено в последующих публикациях.

Литература

1. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. – М., 1996.
2. Кобозева И.М., Лауфер Н.И. Языковые аномалии в прозе А. Платонова через призму процесса вербализации // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. – М., 1990. – С. 125–139
3. Мамардашвили М.К. Эстетика мышления. – М., 2001.
4. Михеев М.Ю. В мир А. Платонова – через его язык. Предположения, факты, истолкования, догадки // <http://miheev-mihail.viv.ru/cont/platon02/2.html>
5. Отрошенко В. Встреча в Тамбове // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 4. Юбилейный. – М., 2000. – С. 20–23.
6. Подорога В.А. Евнух души: позиция чтения и мир Платонова //
- Сознание в социокультурном измерении / Ин-т философии АН СССР. – М., 1990. – С. 57–82.
7. Терехова А.В. Дискурс А. Платонова в контексте научных интерпретаций: Дис. ... канд. фил. наук. – Харьков, 2005.
8. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. – М., 1995.
9. Шатуновский И.Б. Семантика предложения и нерферентные слова (значение, коммуникативная перспектива, прагматика). – М., 1996.
10. Энттейн М. Проективный словарь философии. Новые понятия и термины // <http://www.topos.ru>.
11. Энттейн М. Русская культура на распутье // <http://www.emory.edu/INTELNET/cr7.html>

АНОТАЦІЯ

В статті пропонується новий погляд на особливості художньої мови А.Платонова. На матеріалі окремих контекстів, що містять так звані «мовні аномалії», розглядаються способи вираження суттєвих для художнього світу Платонова концептів «пам'яті» та «існування». На тлі семантичного аналізу та дискурсивної інтерпретації окремих контекстів демонструється іконізм способу висловлювання, що є феноменологічно мотивованим риторичним наслідком порушення мовних зв'язків.

SUMMARY

The article presents a new approach to the characteristic features of A. Platonov's artistic language. Separate contexts with so-called "linguistic anomalies" provide a basis for the study of implementing the concepts of *memory* and *existence* which are vital for Platonov's artistic world. The semantic analysis and discursive interpretation of the contexts enable the demonstration of the utterance mode iconism that is a phenomenologically motivated rhetoric consequence of breaking the linguistic connections.